

Татьяна Соломатина

# вишнёвая смола



Татьяна Соломатина

**Вишнёвая смола**

«Автор»

2013

## **Соломатина Т. Ю.**

Вишнёвая смола / Т. Ю. Соломатина — «Автор», 2013

Сидишь прекрасной московской осенью на ступеньках в ожидании важной встречи. Мимо тебя проходят два юных балбеса влюблённые друг в друга по уши. Ей лет семнадцать. Ему – ненамного больше. она со звериной серьёзностью: «Ты любил в детстве жевать вишнёвую смолу?!» Он – вопросом на вопрос, смеясь: «Это тест?» Парочка проходит, и все встречи становятся неважными, потому что ожидание куда важнее. И не на ступеньках в центре Москвы ты сидишь, а на швартовочном кнехте в одесском порту, и не пятый десяток тебе, а семнадцать. Жизнь прожита, потому что всем юным известно, что в семнадцать жизнь уже прожита, прочитана как полудетский роман. Уже нанесены все самые глубокие раны, они кровоточат и причиняют острую боль. И до шрамов, затянутых каноном драматургии классицизма – триединством времени, места и действия, – ещё далеко. И ещё прекрасно непонимание того, что все события происходят в течение жизни, на одной и той же планете и длятся ровно от рождения до смерти... «Это тест!» – шепчешь сама себе. И единственно важным становится неотложное свидание со старой вишней на трамвайной остановке 8-й станции Черноморской дороги. Это логично, последовательно и, значит, справедливо. Автор

© Соломатина Т. Ю., 2013

© Автор, 2013

# Содержание

Вишневая смола	5
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Татьяна Соломатина

## Вишнёвая смола

### *Полудетский роман*

*Плачут люди, собаки и кошки.  
Птицы, я думаю. И мыши немножко.  
Не плачут деревья, море и камни.  
Море само – это слёзы в лохани.  
Камни прочны и горды изначально.*

*А вот у деревьев странное свойство:  
И соки, и смолы в них, и беспокойство —  
Всё как у нас, но не плачут они,  
Вроде живые и вроде сродни.  
Что же им делать с печалью?*

## Вишневая смола

Я стою под старой вишней на Восьмой станции Черноморской дороги.

С Девятой изредка сползают ужасно переполненные трамваи. Ливень согнал пляжников с моря. Ну вот, опять двадцать девятый! И опять «одинарный»! Мама ругается с трамваями и с теми, «кому делать нечего, как только из города в Черноморку переться!». Какой смысл ругаться с трамваями, набитыми потными отдыхающими? Но мама ругается с ними как бы понарошку, не всерьёз. Всерьёз мама ругается с тётей Олей, из-за которой мы «должны тащиться в город!». Тащиться в город мы вовсе не должны. И уж совсем не из-за тёти Оли. Мама и тётя Оля обычно очень любят друг друга, потому что они родные сёстры. Но периодически у них «срывает резьбу», как это называет тёти-Олин муж, дядя Коля, – и родные сёстры начинают выяснять, кто лучше живёт, кому родители больше помогли и помогают, и всякое такое, что иногда любят громко и даже с каким-то странным болезненным удовольствием повывяснять взрослые люди. Смешно, честно говоря. Хотя именно честно им лучше ничего не говорить, потому что окажешься в лучшем случае «сильно умная!», а в худшем – «плохой» или «избалованной девчонкой», что странно. Потому что как раз плохие девчонки обманывают и как раз избалованные ругаются из-за ерунды. Уже такие большие тёти, а всё ещё считаются – кого папа и мама больше любят. Или, вот, что у моей мамы старое пальто, а у тёти Оли – новая шуба. Как глупые маленькие девочки! Впрочем, сколько себя помню – наблюдаю: мир несправедлив. Прекрасен, но несправедлив. В смысле, мир сам по себе – прекрасен. А мир людей – несправедлив и ещё... Как его?.. Нелогичен, вот! Логика – это такая справедливая последовательность. Например: если ты сажал редиску, то тебе её первым и есть. Но ничего подобного! Ты посадил редиску, а первым её ест твой двоюродный брат, не имевший к посадке редиски никакого отношения. А тебе ещё и говорят: «Ну чего ты ревёшь?! Ты же любишь сажать редиску!» Вообще-то, ты её ещё и есть любишь. Но ты живёшь и тут, и в городе. А двоюродный брат живёт только тут. И ты любишь сажать редиску. А он – нет. Он её любит только есть. И на твой справедливый рёв возмущения нелогичностью этого мира тебе же ещё и несправедливо замечают: «Ну чего ты ревёшь?!» Глупые какие! От обиды, конечно. Но

если им сказать: «От обиды, конечно!» – они так и начинают покатываться с хохоту. И затем говорить: «Тебе что, редиски братику жалко?! Да этой редиски будет и будет – ещё надоест!» И очень хочется сказать: «Да! Жалко! Жалко мною посаженной редиски для не сажавшего её двоюродного братика!» Во всяком случае, первой. Вот когда «будет и будет» – пусть ест на здоровье. А первой – самой первой! – редиски никогда уже больше не будет! Потому что самую первую, необыкновенную редиску, которой никогда-никогда больше не будет, сожрал твой мерзкий двоюродный брат. Ты что-то делаешь – и тебя же стыдят. Двоюродный брат не делает ничего – и его защищают. Вот это и есть несправедливая нелогичность, которой полон мир людей. Но не сам по себе мир. Хотя, если разобраться... Идёшь на море в прекрасном настроении – а там вода холодная! Но мир без людей не говорит: «Тебе что, холодной воды морю жалко?!» Да и не ты туда воду наливала. Так что если разобраться – мир без людей пусть и не слишком логичен, но хотя бы справедлив. Ну, как минимум – не несправедлив.

– Не ешь вишнёвую смолу!

Ну конечно! Сейчас не только ливень и отдыхающие таким странным способом – толкаясь в набитых трамваях, – будут виноваты в том, что мама повздорила с тётей Олей. Сейчас и я, и вишнёвая смола, и даже само по себе небо без ливня – будут в этом виноваты. И хорошо бы только в этом!

– Мама, а я читала, что всякие аборигены разных, там, островов и амазонок так зубы чистят – жуя смолу. Или расщеплённой палочкой.

– Читать выучилась на мою голову! – ворчит мама уже не так зло.

Вообще-то, мама гордится тем, что я на её голову выучилась читать. И уже давно – два года назад. Мама обыкновенно всем хвастает, что я уже два года как выучилась читать, а мой двоюродный брат до сих пор даже буквы не знает. Тётя Оля на неё за это обижается, потому что хвастает мама моим ранним чтением в основном при гостях. Мне дают «Правду», или «Известия», или «Учительскую газету» – и я читаю вслух передовицу. А у гостей такие выражения лиц, как будто они уксусу хлебнули, но при этом улыбаются. Наверное, чтобы не сесть в лужу. Я как-то раз сама хлебнула уксусу, чтобы понять про это вот: «Как будто уксусу хлебнул!» Выражение своего лица я не видела, но было страшно кисло. И тут в кухню вошла бабушка! А я стою с бутылкой уксуса. Во рту противно. Но я сразу улыбнулась.

– Желудок сожжёшь! – ахнула бабушка и отобрала у меня бутылку.

Странно. Что-то сжечь можно только спичками. Спичками, поднесёнными к чему-то сухому. А уксус – он мокрый. Желудок – вообще внутри, до него зажжённую спичку не донесёшь, она во рту погаснет. Я опыт поставила. Уже после уксуса. На двоюродном братике, разумеется. Сама я спичек боюсь. Я ему сказала зажечь спичку и засунуть её в рот. Он почти ничего не умеет, этот отвратительный двоюродный брат, а спички зажигать – умеет. Ещё всё ломать и рушить умеет. И мусорить. И лопать посаженную мною редиску! И вот он целый коробок извёл – спички во рту гасли, а желудок так и не загорался. Жаль. Если бы у него сгорел желудок или хотя бы рот, он бы не ел мою первую редиску. Мою! Потому что кто сажает – того и редиска!

В общем, выражение «как уксусу хлебнул» – это кислое выражение, насколько я из личного эксперимента с уксусом поняла. Вот с таким выражением гости и слушали, как я читаю передовицы. В передовицах (передовица – это такая статья, что у газеты спереди) – скучные бессмысленные слова. Так что гостей я понять могу, но в детских книжках или даже в моей

любимой теперешней дедовской книге «К другим Тассили»<sup>1</sup> – слишком крупный, для того чтобы мама мною гордилась, шрифт. А в передовицах – он как раз такой, подходящий для маминой гордости. Наверное, именно поэтому мелко и печатают – всё равно скукотища страшная, никто не читает, чего зря много места переводить? Гости кисло выслушивают – я всегда стараюсь побыстрее прочесть, чтобы они не мучились. А затем преувеличенно восторженно хвалят, как будто я не девочка, а глупая собачка. Один раз я как-то поверила, что хвалят от души, и одного дяденьку, что аж в ладоши хлопал, спрашиваю:

– А хотите, я вам прочитаю про Та-н-Тартаит и И-н-Итинен, раз вам так понравилось, как я читаю?

Дяденька мне отвечает вопросом на вопрос:

– Ой, а это ты сама такую тарабарщину выдумала?

– Да нет же! – говорю ему. – Это из «К другим Тассили».

– Зачем же это к другим тассили? Тассить – так уж к своим! Ну и что, дотассили или не дотассили? – захохотал дяденька, жутко довольный собой. Потому что другие гости за столом тоже захохотали.

Этот дурак подумал, что я букву «Щ» не выговариваю. Взрослые люди иногда ужасные дураки. Даже чаще всего! Вот отчего это: «Не ешь смолу!»? А вот оттого это: потому что маме так захотелось. И потому что взрослые могут захотеть для детей чего только им, взрослым, заблагорассудится. И ничего дети с этих их взрослым захотением сделать не смогут. Пока не вырастут. Иногда и когда вырастут – не смогут. Вот хочет дедушка, чтобы все сидели вечером за столом, а у тёти Оли голова болит. И что? И всё равно она идёт за стол, потому что дедушка – тиран и диктатор. Так тётя Оля и мама говорят, когда дедушка не слышит. Как по-моему, так дедушка никакой не тиран. И не диктатор. Если честно – по-моему – так и никакая голова у тёти Оли не болит. Просто она так говорит, чтобы дедушка не то оценил её подвиг, не то мучился совестью: у его дочери голова болит, а она всё равно за стол идёт. Но честно с ними нельзя – это надо помнить. Хотя дедушка честно-честно всё знает. И то, что они про него говорят, что он тиран и диктатор, когда он не слышит. И то, что у тёти Оли голова болит не потому, что болит, а чтобы дедушка оценил подвиг и мучился совестью. А он не ценит и не мучается. Потому что всё про них знает. Моя мама или умнее, или трусливее. Потому что у неё невдалеке от дедушки голова никогда не болит. При папе – сколько угодно. При дедушке – ни разу. И ещё она с дедушкой никогда не скандалит, как тётя Оля. Потому что переорать дедушку невозможно. Так зачем горло драть? Кстати, «драть горло» – это ничего не фигура речи. Если громко орать, то горло по-настоящему дерётся. Я однажды попробовала очень громко орать – и охрипла, потому что горло подралось. То есть сначала мы с моим двоюродным братом подрались – мы часто дерёмся, но тогда подрались очень серьёзно, – и я стала так орать, что даже горло подралось, и я охрипла. Вообще-то, я сильнее двоюродного брата и легко могу его побить. Но когда я его бью – мне всегда влетает. Не в том смысле, что меня кто-то бьёт, – меня никто никогда не бьёт, даже по их понарошковой попе. Но мне влетает долго и занудно – словами. Долгими и занудными мамиными словами про то, что я умнее и должна уступать. Почему же это те, кто умнее, должны всегда уступать?! А если мой двоюродный брат меня убить захочет? Так я что, оттого что умнее, должна ему уступить – и пусть убивает? Тогда все умные вымрут и на свете останутся только те, кто глупее. Потому что умные от большого ума взяли да и уступили. Я дедушку спросила, должны ли умные уступать. И что же он ответил? Дедушка ответил, что не всегда! Мама мне постоянно говорит про то, что она старше и

---

<sup>1</sup> Анри Лот, «К другим Тассили. Новые открытия в Сахаре», 1976 год.

умнее меня (хотя сама мне никогда не уступает, ха-ха!). А дедушка – старше и умнее мамы (и, кстати, он мне частенько уступает). Короче, мир состоит из очевидных противоречий. Для дураков. Для тех, кто умнее, – если покопаться, то некоторая логика и последовательность обнаружатся. И значит, справедливость есть. Но только не для маленьких. Не знаю, есть ли она для больших. Много раз спрашивала. Папа начинал бубнить свою бубню. Мама наказывала отстать с глупостями. А дедушка говорил, что справедливости нет, потому что то, что для кого-то справедливость, для другого – вопиющее наоборот. Мне очень тогда понравилось это выражение, и я его несколько дней повторяла. Мама меня спросит: «Хочешь молока?» А я ей: «Вопиющее наоборот! Хочу кефира!» А папа говорил, что кефир молоку вовсе не вопиющее наоборот, а продукт брожения. Вообразить себе не могу, где мог бродить кефир, но папа, хоть и нудный, кое-чего об этом свете знает. И раз он говорит, что кефир бродит, – значит, где-то этот кефир бродит. Хотя когда бродит молоко – получается вовсе не кефир, а простокваша. Ни у кого нет точных, коротких и понятных объяснений существующим знаниям. До всего самой приходится доходить. Бродить, бродить – и доходить. И когда сам добрёл, то понимаешь, что вопиющее наоборот молоку действительно вовсе не кефир, а кусок смолы. Только не вишнёвой, а строительной. Такой, что сперва варят в чанах на стройках, а потом её застывшие куски долго валяются вокруг этих строек. Молоко – белое, и жидкое, и съедобное. Строительная смола, которая уже не в чанах, – чёрная, твёрдая и несъедобная. Так что вскоре я перестала говорить про «вопиющее наоборот» слишком часто. И употребляла только по делу. Когда меня спрашивали, например, не хочу ли я с двоюродным братиком поиграть. Вот тут я всегда была готова на самое вопиющее наоборот, вплоть до с совершенно чужим взрослым человеком посерьёзничать.

– Где ты опять летаешь?! Ну что за рассеянный ребёнок?! Не ешь смолу! И в карман не клади! Вечно натащишь домой муравьёв, а я потом их выводи.

Во все не вечно, а только летом. Если бы лето было вечно, как в Сахаре, – мамины слова были бы справедливы. Но в Сахаре наверняка нет старых вишен. Во всяком случае, в моей текущей любимой дедовой книге ничего нет про старые вишни. Зато там много цветных картинок, карт – которые тоже не что иное, как красивые картинки, но по ним ещё, в отличие от просто картинок, можно много чего найти. Есть непонятные слова, которые приятно понимать, узнавая. И даже целые забавные предложения. Например: *«Кажется, я вам кое-что обещал, но я тогда был не бог весть кто; теперь я министр и могу исполнить обещание»*. Если такие предложения запоминать – они бывают очень полезными. Ну, например, когда мама не разрешает навестить Серёжку. Маме надо сказать: «Я обещала навестить Серёжку!» Мама ответит: «Нечего тебе делать в больнице!» После этого надо сделать вид, что вот-вот расплачешься, – такой вид делать нетрудно, когда на самом деле вот-вот расплачешься, – и сказать маме: «Но я же обещала!» Мама скажет: «Мало ли кто кому и чего обещал!» Тогда надо на самом деле расплакаться и поверх льющихся слёз чётко процитировать (цитировать – это в точности пересказывать чужие умные слова): *«Кажется, я вам кое-что обещал, но я тогда был не бог весть кто; теперь я министр и могу исполнить обещание»*. А потом ещё больше расплакаться и, перед тем как перейти на надрывный рёв, сказать маме: «Боюсь, Серёжка не будет жить до тех пор, когда я из невесть кого стану министром! Вы с тётей Олей постоянно шепчетесь, что он не жилец!» – и после этого рыдать взахлёб. Мама грустно улыбнётся и скажет: «Ладно, я подумаю!» И даже добавит: «Ты хорошая девочка. Иди».

Взрослые, когда не идут с нами, детьми, всё время хотят, чтобы мы куда-то шли. В комнату. На улицу. За стол. На бережок. С бережка. В воду. Из воды. Как будто когда мы не идём рядом со взрослыми, мы им страшно мешаем уже только тем, что находимся рядом, не идя. Даже если находимся рядом с ними, не идя, – очень тихо. Иногда страшно хочется стать невидимой.



димкой и потихоньку подсмотреть, чем они таким важным занимаются, отослав нас в комнату «играть» или во двор «дышать воздухом». Можно подумать, что воздух не везде один и тот же! Впрочем, не буду несправедлива: иногда взрослые стойко переносят присутствие детей. И дети могут и играть, и дышать не у себя в комнате и не во дворе, а прямо в присутствии взрослых. Правда, дышать надо незаметно, не сопеть. А играть во что-нибудь «подходящее»: в чтение книги, в рисование в альбом (не раскидывая карандаши и фломастеры!), в конструктор или в кукольный домик (только чтобы детальки от конструктора и мебель из кукольного домика не вылетали за периметр твоего ареала). «Периметр ареала» – красиво, да? Это не мои слова, и обычно взрослые такими словами с детьми не разговаривают. Когда взрослые хотят сказать детям, что им нельзя за периметр их ареала, то они говорят: «Сиди вот здесь и ничего не разбрасывай!» Мне кажется, если бы взрослые говорили нам, детям: «Не выходи за периметр ареала», то мы, дети, охотнее бы сидели, где скажут, и ничего-ничего не разбрасывали бы. Потому что про периметр ареала – это звучит таинственно и красиво. А следовательно, не так оскорбительно, во всяком случае, по форме. Хотя по сути...

Вот – по сути – моей маме всё равно, ем я смолу старой вишни или нет. Но мама раздражена ссорой с сестрой. Тем, что она из-за этого (хотя на самом деле из-за себя и только из-за себя!) должна ехать в город, а трамваи набиты. И вообще! Я не хотела ехать в город. И вполне могла остаться. Но когда мама, накричавшись на тётю Олю, спросила меня: «Ты остаёшься или со мной?!» – я поняла, что остаться невозможно. Никак нельзя. Потому что это будет как бы предательство. Предательство – это плохо даже не потому, что ты кого-то предаёшь. Не из-за этого кого-то. А потому, что предаёшь-то именно ты! Ну и особенно нельзя, конечно же, предавать маму. Даже двоюродного брата не всегда хочется предавать. Было бы прекрасно, если бы он обиделся и уехал куда-нибудь далеко-далеко и больше никогда не возвращался! Но он уедет, как же, жди! Я бы, ради того чтобы он сгинул куда-нибудь, его бы, пожалуй, предала. А маму я никак не могу предать, даже если ради этого непредавания мамы придётся умереть! Так что уехать с ней от бабушки с дедушкой вовсе нетрудно. Хотя, конечно, очень хотелось остаться. Сидеть во дворе, гулять по переулкам, кататься на велике. И вечером напроситься со старшим родным братом в пионерлагерь, в кино – он бы взял! Мой родной старший брат никогда и ни в чём мне не отказывает – ни в мороженом, ни в газировке, ни в кино в пионерлагере. Я бы сделала вид, что уснула. Он бы сделал вид, что поверил, и, закинув меня к себе на плечо, так бы и нёс домой аж через Офицерскую, куда бы провожал свою очередную подружку. Подслушивать с плеча старшего брата то, о чём он болтает со своей очередной подружкой, гораздо интереснее, чем ехать с мамой в набитом трамвае и потом торчать весь вечер на подоконнике, потому что в городе летом на улице неинтересно. Но не поддержать маму нельзя! Она же мама! Не поддержать маму – это и есть предать маму. Старший брат сказал ей: «Оставь её здесь!» – «Пусть остаётся, если захочет! Я никого не заставляю!» – процедила в ответ мама. И я поняла, что мой родной брат в чём-то прав, но этой своей правотой он маму предаёт. Если и я её предаю, то ей совсем будет тошно ехать одной в набитом трамвае. А так ей не слишком обидно про тётю Олю и всё остальное, потому что я рядом. Я всегда на стороне мамы, даже когда она не права. Я, конечно же, не бог весть кто, чтобы рассуждать о том, когда мама права, а когда – нет. Но я помалкиваю – и значит, не рассуждаю. Потому что рассуждать – это вслух. А думать – это про себя. Про себя никто не слышит, по форме – я с мамой. Форма – это неважно, как я уже подумала. Форма позволяет человеку быть в форме. Форма – она чтобы не расклеиться окончательно. Форма сути не помеха, вот что! Жаль только, что мама вынула из моего кармашка смолу и выкинула. Когда слёзы кто-то проглотил – это одно. А когда вот так, выкинул в пыль, на дорогу... Смола – это же слёзы. Вишнёвые слёзы.

Трамваев всё нет. Так всегда. Когда их не сильно ждёшь – они идут один за одним, полупустые и «двойные». А когда прямо вот «вынь да положь!» – только изредка. Набитые и «оди-

нарные». Мама сердится. Я очень расстраиваюсь, когда мама сердится. Хочется сказать ей: «Мама, не сердись! Давай вместе есть вишнёвую смолу! Наедемся смолы и пойдём обратно, к бабушке и дедушке! Тётя Оля уже наверняка сама расстроилась, что вы поругались. И даже поплакала – я её отлично знаю, эту тётю Олю! И когда мы вдруг вернёмся, она обрадуется, как бешеная, и заварит чаю, и вы будете вместе под бабушкины пироги весь вечер разговаривать на веранде и даже сплетничать! Ну какая разница, кому дедушка подарил часы на двадцать пять лет, а кому – на шестнадцать? Главное же, что он вам обоим подарил! Вы обе уже давным-давно можете сами покупать себе часы! А старое пальто и новая шуба, они же не от бабушки и дедушки, а от папы и дяди Коли, мужей же вы сами выбирали, чего уж теперь... Лучше попробуй вишнёвую смолу! Ты же наверняка ела её в детстве, ты мне сама рассказывала! Только ты ела не вишнёвую, а персиковую смолу и воровала у соседей персики, потому что соседи разрешали. И запихивала себе персики под майку, а они были жутко кусачие и страшно сочные, и ты потом бежала нырять в ледяную воду, только чтобы побыстрее смыть персиковую кусачесть и персиковую сочность, потому что кроме персиков тебя хотели кусать ещё и осы. Ну помнишь, мам? Ты помнишь, что такое смола, просто забыла, какая она вкусная!» Хочется. Очень хочется. Но почему-то не говорится. Какой-то странный ком в горле. Даже не ком. Про ком – это взрослые говорят. Какой-то странный страх в горле. И даже под коленками страх. На велосипеде с горки не так страшно. Почему? Ничего не придумывается. Как сказал бы папа: «Никаких разумных объяснений!» Неразумных, впрочем, тоже. Может, стоит просто набрать побольше воздуха и выпалить всё это, про наедемся смолы, и про пойдём пить чай, и про помнишь? Уже даже набрала полную грудь, но наткнулась взглядом на кусочки смолы, валяющиеся в пыли. Прежде торжественно-прозрачные, как бабушкина праздничная ваза тёмного стекла. Твёрдые слёзы, которые не впитываются в землю, как капли дождя, а сиротливо, изгвазданные, валяются в бурой, прибитой ливнем пыли.

– Чего вздыхаешь, как маленькая старушка?!

– Я не вздыхаю. Я выдыхаю.

Говорить про чай и смолу перехотелось. И в горле уже нет страха. Всё как всегда. Взрослые не помнят про детское. Дети – не имеют права про взрослое. Взрослые – это взрослые. Дети – это дети. И на границе их миров грозными стражами надёжно валяются выброшенные твёрдые слёзы. Слово «валяются» не так красиво. Не говоря уже о словосочетании «надёжно валяются». Такое никому не захочется цитировать при подходящем случае. Но они действительно валяются. Может, не слишком надёжно, но зато уж точно – выброшенные. Валяются... Ужасно. Ну а что ещё можно делать в пыли? Страшно пыльная граница – её давно никто не переходил.

Мама за руку выдёргивает меня из мыслей. Пора бежать на штурм очередного трамвая. И это нам в очередной раз не удаётся.

Возвращаемся под старую вишню.

Подходит наша соседка по Сиротскому переулку:

– Ну что? Идём на Шестнадцатую? Там хоть конечная, как-нибудь влезем!

Соседке тоже нужно в город. И даже не потому, что она там живёт, – летом мы все живём тут, осенью-зимой-весной – там, хотя и ездим круглый год туда-сюда всеми этими двадцать шестыми-двадцать девятыми и восемнадцатыми трамваями. Двадцать шестыми и двадцать девятыми – по Черноморской дороге. Восемнадцатым – по Большому Фонтану. Соседке сейчас нужно даже не в город. Ей нужно на Слободку. С восемнадцатого трамвая она пересекает на двадцать восьмой, с двадцать восьмого – на пятнадцатый. И тогда только доедет до Слободки. До областной детской больницы. Я специально запоминаю номера трамваев и маршруты. Точ-

нее, не так. Запоминаются номера. И они как-то оказываются неразрывно связанными с маршрутами или конечной целью. Ещё они, несвязанные, чем-то важны сами по себе, эти номера. Я знаю, что от осенне-зимне-весеннего дома на десятом трамвае удобней ехать до Вокзала или до Водопроводной, чтобы пересестись на двадцать девятый или двадцать шестой. Лучше, конечно же, на двадцать шестой, потому что двадцать девятый идёт аж до Черноморки, и значит, народу в нём всегда больше, чем в двадцать шестом. На десятом удобнее, чем на третьем, потому что десятые трамваи чаще бывают «двойные». Зато на третьем можно доехать аж до Третьей станции Черноморской дороги – он не сворачивает направо у Кладбища. Если от конечной остановки третьего трамвая чуть-чуть пройти, то можно дойти до общаги, где иногда живёт тётя Оля. Вообще-то это здание называется «общежитие», но взрослые называют его «общага». И это название больше подходит унылой пятиэтажке. Потому что «общежитие» – слово уютное. Это, если разложить, общее житие. Как у бабушки с дедушкой, тётей Олей, дядей Колей и их сыном-дураком, моим двоюродным братом Лёшкой. Или как у нас с мамой, папой и моим родным старшим братом. А общага – она именно такая, как это неуютное неопрятное здание в пять этажей, напротив такого же строения, а между ними протянуты верёвки. У тёти Оли, дяди Коли и моего двоюродного брата в этой общаге есть «семейная комната». И однажды я в этой общаге даже была. Не всё же двоюродному брату у нас ночевать! Он у нас часто ночует осенью-зимой-весной, когда тётя Оля ругается с дядей Колей, и это отвратительно! Не знаю, насколько отвратительно они ругаются именно осенью-зимой-весной, потому что летом они ругаются вполне терпимо: тётя Оля кричит, а дядя Коля всё время её успокаивает и потом идёт за цветами. А вот ночующий у нас двоюродный брат – это мерзость и пакость! Потому что нас и так в однокомнатной квартире четверо, и мы все спим в этой одной комнате, потому что другой просто-напросто нет. У меня и у моего старшего родного брата есть такие кресла, которые заодно и кровати. Называются «вертолёт». Не знаю почему. Днём мы их складываем, а перед сном раскладываем. И вот когда у нас (часто!) осенью-зимой-весной ночует мой двоюродный брат, то мой родной старший брат спит на полу. Почему это мой родной старший брат из-за двоюродного должен спать на полу? А ещё иногда этот отвратительный двоюродный брат гнусаво хнычет про то, что он хочет спать непременно на моём вертолёте. И тогда меня заставляют перебираться на вертолёт моего родного старшего брата, потому что гостям надо во всём уступать. Не знаю, почему это гостям надо во всём уступать. Не представляю даже. А если какой-нибудь гость захочет меня убить? Иногда мне кажется, что мои родители и такое гостям позволяют. Так что, можно сказать, ещё пока, тьфу-тьфу-тьфу, везёт. А то двоюродный братец бывает в гостях так часто, что уже и не знает, чего бы ему ещё захотеть. Наверное, скоро будет гнусаво ныть моей маме про то, что он хочет меня потыкать ножом, которым она режет мясо на отбивные, и я не удивлюсь, если она ему позволит. «Это же твой братик! Он же у нас в гостях!» А ещё мне очень противно, когда он спит на моём вертолёте. Потому что он – ссыкун (так его называет мой родной старший брат), и на мой вертолёт стелят клеёнку, такую, как стелят в детском саду тем, кто писает в постель. Стели не стели ту клеёнку, а и мой вертолёт, и вертолёт моего старшего родного брата обоссаны этим отвратительным созданием, которое я почему-то обязана любить и как брата, и как гостя, и не знаю ещё как! «А почему он не должен никого любить?» – спросила я как-то у папы, потому что маме такие вопросы лучше не задавать. «Ну... – когда папа начинает “нукать”, это значит, что правды для ответа просто нет, и ему нужно время на то, чтобы придумать неправду. – Ну-у-у... – мычит папа очень похоже на “Му-у-у!!!”, – он должен, просто он маленький и, это... Ну, он не очень умный, но он твой братик, и ты всё равно должна его любить! Ты же умная девочка!» Опять двадцать пять, умные всем подряд должны! Не хочу я двоюродного брата любить даже через «всё равно». А ещё он храпит! Как будто мало папы! «Чего он храпит, как свинья недорезанная?!» – спрашивала я у мамы. Не про папу, а про двоюродного брата. Так мама мне ответила, что, во-первых, нельзя так говорить: «Как свинья недорезанная» (хотя сама именно так говорит про то, как папа хра-

пит), а во-вторых, у моего двоюродного брата аденоиды, – и объяснила, что это такая болячка. Я уточнила, не умирают ли от этих аденоидов, и мама ответила, что не умирают, не переживай! Я как раз переживаю из-за того, что из-за этих аденоидов не умирают, а только храпят, как недорезанные свиньи!

Ну а вот однажды я была у тёти Оли и дяди Коли в общежитии, потому что мама и папа куда-то уехали, а у бабушки и дедушки мне зимой как-то грустно. Не знаю почему. Даже у дедушки в кабинете грустно, потому что из кабинета обычно всё зелёное, и солнечное, и радостное. Обычно – это летом, когда я там долго живу. А зимой из кабинета всё чёрное, голое, грязное и какое-то печальное, и мне становится тоскливо просто так, не из-за чего, и хочется плакать, а когда мне хочется плакать – я плачу. Так что меня взяли в ту общежитию, и мне не понравилось. Если бы там не было ещё и моего двоюродного брата – мне бы наверняка понравилось. Потому что в общежитии и тётя Оля, и дядя Коля были даже добрее, чем они бывают, когда мы все живём у бабушки и дедушки. Тётя Оля давала нам много-много конфет, но двоюродный брат отгреб из моей кучи почти половину и плаксиво орал при этом: «Это моя мама! И мои конфеты! Все!» Дядя Коля подкидывал нас к потолку по очереди, но когда он подкидывал меня, то двоюродный брат толкал его и гнусаво визжал: «Это мой папа! Пусть он подкидывает только меня! Ты тут вообще всего лишь в гостях!» И ему никто не сказал, что гостям можно всё. А когда мне постелили раскладушку, он сказал, что будет спать на раскладушке. И мне пришлось спать в его кровати. Когда с его матраса сняли клеёнку, мне стало страшно жалко наши со старшим родным братом вертолётчики. Просто на них всё это не так заметно, как на этом ужасном, всём в подтёках, матрасе. Через час двоюродный брат-дурак стал плакать, что на раскладушке неудобно, и нас ещё раз перекладывали. А ещё через час он стал плакать про обратное, но дядя Коля ему запретил, и двоюродный брат стал плакать ещё громче и измазал всю подушку соплями, и тётя Оля на него накричала и даже нашлапала, но ещё через полчаса мне всё равно пришлось снова топтать в его гадкую кровать, потому что он не успокаивался и сделал вид, что задыхается. Он часто делает вид, что задыхается. Например, когда тётя Оля в «Детском мире» на Ленина, или в Центральном универсаме на Пушкинской, или в «Золотом берегу» на Шестнадцатой говорит ему: «Нет!» – когда он хочет очередную новую игрушку. Тогда он начинает плакать, заходиться в рёве и, в конце концов, падает на пол – и начинает задыхаться. Мне всегда становится очень стыдно. А тёте Оле становится страшно – и тётя Оля тут же покупает ему новую игрушку. Правда, когда в магазины мы ходим с моей мамой и она говорит двоюродному брату: «Нет!» – он не падает на пол и не задыхается, а только плачет. А когда мы гуляем с моим родным старшим братом, то двоюродный у него ничего и не просит. Потому что однажды попробовал свой фокус с задыхательством – и получил от моего родного старшего брата крепкий подзатыльник и сразу задышал нормально. И даже плакать перестал. И шёл спокойно, как миленький! Зато как только мы пришли домой, он стал брызгать соплями, и орать, и жаловаться тёте Оле, что мой родной старший брат его бьёт, и тётя Оля пошла ругаться про это к моей маме. Хотя никто его не бил. Если бы мой родной старший брат бил нашего двоюродного – то наверняка бы убил, потому что он здоровый! А я, между прочим, никогда не ябедничаю про двоюродного брата, хотя есть за что. Но ябедничать некрасиво. Примерно так же, как предавать.

И ещё мне в общежитии почти понравилось, потому что в общежитии огромная кухня, на кухне – куча народу. И они все о чём-то говорят, причём такими словами, что дома ни в жизни не выучишь! Но плохо, что там один туалет на весь этаж. И противно пахнет. И в туалете, и на кухне, и даже в «семейной комнате». Но всё можно выдержать, если бы только не двоюродный брат. Тётя Оля уезжает в общежитие, когда ругается с дедушкой. Но очень скоро возвращается, потому что у дедушки с бабушкой большой светлый дом, где есть свой собственный туалет и ванная, четыре большие комнаты. И ещё у бабушки с дедушкой есть летний домик. И летний туалет и летний душ. И большой двор, где можно сушить бельё. И даже огород, где я сажаю

редиску, а её пожирает мой отвратительный двоюродный брат, потому что редиску сажают, ещё когда мама работает в школе и мы приезжаем к бабушке и дедушке только по выходным. Я сажаю редиску в выходные, но первая созревает когда хочет, например – в будний день. Двоюродный брат не только съедает всю первую редиску, он ещё уничтожает половину урожая, дёргая за кудрявые хвостики ту редиску, что «будет и будет». Это он так проверяет, не созрела ли. Иногда мне кажется, что не такой уж он и любитель редиски, – просто ему хочется мне досадить. Кажется, что его родили, именно чтобы мне досаждать! Но, с другой стороны, он на три месяца меня старше. И значит, его не могли родить специально для этого... Родить, может, специально для этого и не могли. Но вот то, что цель его никчемной жизни – досаждать мне, – это точно. Точнее не бывает! Он – ужасное создание. Глупое, бестактное, бесцеремонное и неуместное! Самый отвратительный мальчик в районе и, волею судеб, мой двоюродный брат. Всегда, сколько себя помню, всё лето отравлено им! Слава богу, хоть осенью, зимой и весной я вижу его всё-таки намного реже. Хотя и это «реже» тоже сильно портит жизнь. К тому же моими игрушками можно играть нам обоим – и он всё ломает. А его игрушками играет только он, а если у него хоть что-то попросить, хоть один-единственный кубичек, хоть малюсенькую детальку от конструктора, – он воем, как пожарная сирена. Хотя я никогда ничего не ломаю и всегда всё возвращаю. Не знаю, за что двоюродный брат меня так ненавидит. За то, что у меня нет аденоидов, я умею читать и дедушка разрешает мне бывать у него в кабинете? Или просто потому, что он всех ненавидит просто так, ни за что. И ещё не знаю, почему он должен называться моим братом, пусть даже и двоюродным. Неужели только потому, что его родила тётя Оля, которая мамина сестра? Но это же чистая случайность! Такая гадость могла родиться у кого угодно! Конечно же, все свои мысли по этому поводу я никому не рассказываю – ни маме, ни папе, ни бабушке, ни дедушке. И уж тем более – тёте Оле и дяде Коле. Иногда я частично рассказываю свои мысли родному старшему брату. Но он только смеётся и говорит: «Наплюй! Вырастешь – и будешь жить как хочешь!» Когда это ещё будет-то? И доживу ли я до этого «вырастешь». И наплевать я не могу, потому что плевать – это некрасиво и противно. Плевать – это двоюродный брат большой умелец. От его плевков потом трёшься-трёшься – и всё равно кажется, что не отмылся. Наверное, я всё-таки очень плохая девочка. Временами. И не только двоюродный брат меня ненавидит. Но и я его ненавижу. Но я ненавижу его в ответ, и вообще, он первый начал. Если бы он меня любил, я бы его тоже любила, несмотря на то что он писается, плюётся, храпит, не делится игрушками, отбирает мои и не умеет читать. Да ну его! Сейчас-то его нет. Кстати, довольно часто я уезжаю от бабушки и дедушки с удовольствием. Потому что уезжая от бабушки, дедушки и с прекрасного двора и чудесных летних переулков, я уезжаю и от мерзкого двоюродного брата. Взрослые не понимают. И каждый раз говорят: «Как это здорово, брат-ровесник! Всегда есть с кем играть! Как жаль, что мы уезжаем! Дома тебе будет не с кем играть!» Они даже не понимают, какое это счастье – не с кем играть! Правда, они всегда портят предвкушение этого счастья, добавляя: «Не переживай! Он скоро к нам приедет!» Только из-за этого и переживаю, собственно! И ещё из-за того, какое же это горе – такой брат-ровесник. Уж лучше никакого.

Мы – я, мама и тётя Лена – всё-таки идём на конечную остановку восемнадцатого, и тётя Лена переваливается с ноги на ногу, как гусь. У неё большой живот. Ей надо в детскую областную больницу, потому что её тринадцатилетнего сына опять госпитализировали. Взрослые произносят это таинственное слово «госпитализировали» с опаской и шёпотом. А потом, многозначительно помолчав, припечатывают: «Лейкоз!» Прямо как окончательное «нет!» про двадцатое на сегодня «можно ещё мороженого?».

Тринадцатилетний Серёжка кажется из-за этого «Лейкоз!» ужасно значительным. Он и до того, как я узнала, что у него этот таинственный лейкоз, казался мне ужасно значительным.

Мы подружились, когда мне было всего пять, а ему – уже двенадцать! Познакомились и стали дружить. Он никогда не смеялся надо мною и не заставлял читать передовицы. И не делал пакости, как мой двоюродный брат. Серёжка умный и добрый! Его вывозили в кресле в тень винограда, и я приходила к нему играть. Потому что с ним, соседом Серёжкой, играть было куда лучше, чем с собственным двоюродным братом. Мы с Серёжкой играли в шахматы, и в шашки, и в карты, и ещё он мне читал какие-то странные книги на непонятном языке. Особенно он любил мне читать вот это: «Ван синг ваз сётн, дач зе вайт киттен хэд хэд насинг ту ду вит ит: – ит ваз зе блэк киттенз фолт ентерели»<sup>2</sup>, а потом говорил, что это про то, что несомненно было одно, а именно, что Снежинка здесь ни при чём и виновата во всём исключительно Клякса. И ещё говорил, что это про какую-то Алису из Зазеркалья и что я очень на неё похожа. Я даже сердилась на него, потому что я ни на кого не похожа, но Серёжкина мама, тётя Лена, сказала, что на эту Алису не стыдно быть похожей и что редкие девочки на неё похожи, и ничего стыдного тут нет, похожестью на эту Алису надо гордиться. И даже подарила мне книгу про эту Алису. Хорошо, не ту, что Серёжка мне читал, а другую – на языке, который я умею и читать, и понимать. И с картинками про кроликов в шляпе, про птиц во фраках, про ворон с ружьями, про говорящих гусениц, курящих кальян, про сумасшедшего шляпника, очумелого зайца и Садовую Соню. Садовую Соню было страшно жалко почему-то. А герцогиню и тритона в ливрее – нисколечко<sup>3</sup>. Я читала Серёжке свою Алису, а он мне – свою. И я с ним выучила много-много новых слов совсем другого языка – английского! Книжки на этом иностранном языке – английском – кто-то присылал ему откуда-то издалека. Но Серёжка не говорил, кто и откуда. Только иногда таинственно добавлял, что, наверное, будет жить в Америке. Я знала, что Америка есть, потому что у бабушки есть книга «Там, за рекою, – Аргентина»<sup>4</sup>. Это про то, как два дядьки целых два года путешествовали по Южной Америке. И в той книге тоже есть картинки. В виде фотографий. Пирамиды, например. Или, вот, переправа через Рио-Коло-радо. Или в горах – про Рио-Тесто. Я даже Серёжке принесла эту книгу. Дедушка разрешил. Сказал, что Серёжке – можно. Хотя обычно дедушка никому и никогда книг не даёт. И даже мне разрешает читать только у него в кабинете. Серёжка книгу прочитал за два дня. Я так быстро не могу! Прочитал – и попросил ещё, если есть, про путешествия. И дедушка ему сам отнёс целую стопку! Похожих на «Там, за рекою, – Аргентина»<sup>5</sup>. И Серёжка их прочитал за неделю! Когда я научусь так же быстро читать – это будет прекрасно! Но у Серёжки и нет других дел-то. На велосипеде он не катается, на море не ходит, в кино в пионерлагерь по вечерам – тоже. Сиди себе, читай! Здорово! Я попробовала как-то раз рядом с ним читать – целых два часа выдержала, а больше не смогла. Про два часа я знаю, потому что я Серёжку спросила: «Сколько времени я читала?» И он ответил: «Целых два часа! Для такой маленькой девочки, как ты, – это рекорд, заслуживающий уважения!» И даже пересказать не попросил, как просил папа, когда я подолгу рядом с ним читала. По-моему, Серёжка мне верил больше, чем папа. Это, кстати, очень обидно, когда тебе не доверяют. Я же не мой двоюродный братец, чтобы два часа *делать вид*, что я читаю. К тому же даже делать вид мой двоюродный брат может максимум пару минут – на большее его не хватает. Взрослые говорят, что он – «непоседа», а я считаю, что он просто-напросто очень плохой и злой мальчишка, и его плохость и злость красивым словом «непоседа» никак не прикрыть. Если бы ещё взрослые знали, что он нам с

<sup>2</sup> Надо полагать девочка коверкает: "One thing was certain, that the white kitten had had noting to do with it: – it was the black kitten's fault entirely". Trough the Looking-Glass, and What Alice Found There by Lewis Carroll.

<sup>3</sup> Вероятно, имеется в виду «Алиса в Стране Чудес» в пересказе Бориса Заходера с иллюстрациями Геннадия Калиновского.

<sup>4</sup> Да, действительно есть такая книга. Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд, «Там, за рекою, – Аргентина», издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», 1963 год.

<sup>5</sup> Скорее всего, книги тех же авторов. Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд написали ещё «Через Кордильеры» (1960)», «К охотникам за черепами» (1960), «Меж двух океанов» (1961), «Перевёрнутый полумесяц» (1963).

Серёжкой через забор показывает!.. Хорошо, что тётя Лена его не пускает с Серёжкой играть. Тёте Оле она сказала, что это из-за того, что у моего двоюродного брата, кроме аденоидов, ещё и частые простуды (хотя «простуды» – это тоже слишком красиво для моего двоюродного брата, потому что у него просто постоянно текут из носа зелёные сопли, а он даже сморкаться не умеет и глотает свои сопли, а когда ему нужно делать какое-то промывание, то вой стоит «на всю Ивановскую», как говорит бабушка). И, в общем, эти зелёные сопли, которые тётя Лена назвала красивым словом «простуды», почему-то очень вредны для Серёжки. Но, по-моему, тётя Лена просто не любит моего двоюродного брата, вот и придумала про то, что Серёжке вредны эти его «простуды». Мне-то они не вредны! Я рядом с этой зелёной соплей живу. И хотя удовольствия от этого не получаю, но и вреда мне эти сопли никакого не приносят. Но тётя Лена моему двоюродному брату не сестра и не тётя – и потому вольна его к себе не пускать. Чему я, признаться честно, очень рада! С Серёжкой мне хорошо. Мы с ним говорим про всё и – в том числе – про Америку. Даже про Америки. Потому что Серёжка сказал, что Южная Америка – это замечательно! И он обязательно по ней попутешествует. Но жить он будет в Америке Северной. Потому что это самая прекрасная на свете страна, и он скоро туда уедет. То есть – улетит. Потому что до Америки доехать нельзя.

Серёжка, наверное, немного выдумывал. Потому что все мы выдумываем. Из моих знакомых никто в Америке не был. Ни в Южной, ни в Северной. Я дедушку спросила, можно ли мне улететь в Америку? И почему Серёжка говорит, что Северная Америка – самая прекрасная на свете страна, когда всем известно, что самая прекрасная страна на свете – наша! Дедушка как-то странно на меня посмотрел и сказал, что Северная Америка – это континент, а не страна. И это действительно прекрасный континент. А стран там несколько, и не все они одинаково прекрасны, хотя любая из них гораздо лучше, чем... Тут дедушка замолчал и сказал мне, чтобы я не болтала лишнего, хотя он такое мне никогда не говорит. Я даже раздумывала, не обидеться ли мне для острастки, но пока я раздумывала, дедушка сказал, что из Америки не возвращаются. И мне стало страшно, и я перехотела в Америку. И даже Серёжку предупредила, что из Америки не возвращаются, и может, не надо, чтобы он туда уезжал-улетал? Серёжка улыбнулся и сказал, что он меня туда вызовет. И даже показал мне письмо, написанное отвлечённым почерком – таким, как у моего дедушки, – на том самом, английском, языке. «Это ОН специально мне на английском пишет, чтобы я учился! – гордо сказал Серёжка. – Никому про НЕГО не говори! Я только тебе по большому секрету!» Кто «ОН» и про кого «НЕГО» – я не стала уточнять ни тогда, ни потом. Во-первых, потому что страшно, потому что этот «ОН» из Америки, откуда не возвращаются. Во-вторых, потому что Серёжка говорил мне это своё «ОН» так, как будто я знала и понимала, кто такой этот «ОН». И я делала вид, что знаю и понимаю, кто такой этот «ОН», чтобы не расстраивать Серёжку. Ну и чтобы казаться умнее, чем я есть на самом деле. Как минимум – сообразительней. И ещё раз – чтобы не расстраивать. Впрочем, было трудно вообразить, что Серёжку может что-то расстроить, – такой он был спокойный и уравновешенный. Серёжка ещё несколько раз читал мне эти свои письма от «НЕГО» на очень малопонятном мне английском языке – я угадывала только отдельные слова. Простые, такие как хэллоу и сан. Хэллоу – это по-английски «Здравствуй!», а сан – это «солнце». Непонятно было только, зачем здороваться с солнцем и спрашивать у него «хау ар ю?». Я спросила об этом как-то у Серёжки, а он только рассмеялся – но не как взрослые, хотя ему тогда было уже двенадцать. Без вот этого их, взрослого, мол, ха-ха-ха, какая же ты смешная в своей несообразительности! Серёжка рассмеялся как-то... Как иногда смеются совсем-совсем взрослые – старики. И то – не все. Некоторые старики смеются правильно, так и быть, буду справедливой и логичной – то есть последовательной (последовательность – это ещё одно проявление логики, это мне Серёжка сказал). Вот Серёжка так и рассмеялся, как некоторые правильные старики, и сказал мне: «А давай будем здороваться с солнцем! Каждый день! Каждый день, пока мы ещё можем здороваться... – Тут он чуть загрустил, но тут же продолжил весело: – Будем здо-

роваться с солнцем и спрашивать, как у него дела. Может, солнцу обидно, что никто с ним не здороваются и не интересуется его делами». И мы с Серёжкой стали здороваться с солнцем. Тётя Лена каждое утро вывозила его в тень винограда, а я прибежала к нему пораньше, даже ещё не почистив зубы, и мы с ним, глядя на небо, говорили: «Хэллоу, сан! Хау ар ю?!» Говорили даже тогда, когда солнца и не было видно. Серёжка сказал, что солнце есть всегда, даже когда оно за тучами.

Не знаю, что это были за письма. Возможно, он писал их сам себе для ещё большей своей значительности. Хотя он и так был значительнее некуда. Взрослее меня больше чем в два раза, потому что пять – это в два раза и ещё в чуть-чуть меньше двенадцати. Никогда не бегал, не прыгал, не ездил на велике, как все двенадцатилетние мальчишки. Только сидел в кресле. А по вечерам ходил с тётей Леной на море. Совсем по вечерам, когда уже не было солнца. Хотя если оно есть и за тучами... Меня на море с собой не брали, потому что в пять лет я засыпала очень рано. А этой весной Серёжка только-только приехал, и мы даже не успели с ним ни разу вместе сказать своё: «Хэллоу, сан! Хау ар ю?!» – как его увезли на Слободку и стали всё чаще говорить это странное незнакомое слово «лейкоз». Я спросила у бабушки, что такое этот лейкоз? Бабушка достал одну из ряда похожих друг на друга толстых коричневых книг в золотую поперечную полосочку – была у деда такая восхитительная волшебная способность: всегда выбирать из ряда похожих друг на друга книг сразу ту, что надо! – и, немного полистав, приговаривая себе под нос что-то вроде: «Тэк-с, тэк-с, тэк-с, полагаю, подружку молодого человека интересует острый лимфобластный лейкоз у детей...» (какую подружку? какого молодого человека он имел в виду? моего старшего родного брата, которого он часто и строго именно так называл: «молодой человек!», и его новую подружку с Офицерской? бабушка иногда бывал очень таинственным), раскрыл почти посередине и, протянув мне, сказал:

– Читать ты у нас умеешь! – после чего, отчеркнув большим жёлтым, как будто отполированным ногтём глубокую полосу под жирным чёрным **Острый лейкоз**, вышел из кабинета, оставив меня наедине с книгой, одной из тех, что мне раньше даже при бабушке и трогать-то не разрешалось!

«О боже мой!» – воскликнула бы я, будь я взрослой. Но мне всего шесть – и я мужественно продираюсь, страшно гордясь своим умением читать, сквозь все эти *«гетерогенные группы клоновых опухолевых заболеваний системы крови, возникающих в результате мутации и последующих структурных изменений в геноме гемопоэтических клеток-предшественников»*. Ей-богу, английский язык из Алисы и Серёжкиных писем показался мне милым и простым, пока я вгрызалась в русские вроде бы слова (во всяком случае, слова, собранные из русских букв): *«Заболевания характеризуются вытеснением нормальных элементов морфологически незрелыми злокачественными кроветворными клетками и инфильтрацией ими различных тканей и органов. Согласно клоновой теории, рост лейкозной популяции происходит из одной клетки, а скорость роста опухолевого клона зависит от доли активно пролиферирующих клеток, их генерационного времени, числа клеток с ограниченной продолжительностью жизни, скорости потери клеток. Когда лейкоэмическая популяция достигает определённой массы, происходит торможение дифференцировки нормальных стволовых клеток и резко снижается их нормальная продукция. Клинические симптомы острого лейкоза у детей обусловлены степенью инфильтрации костного мозга бластными клетками и экстрамедуллярным распространением процесса»*.

И это оказалось ещё самым лёгким! На фразе *«Предлейкозный период представляет лишь академический интерес, так как в связи с отсутствием симптомов он практически не диагностируется»* — я сломалась. Ну, как «сломалась» – не буквально же! Когда человек ломается – он умирает. А я была жива и, наверное, даже здорова. После прочтения таких тек-



стов я не могла сказать со всей уверенностью, что я совершенно здорова. При всей непонятности мудрёного сочетания слов *«так как в связи с отсутствием симптомов он практически не диагностируется»*, смысл его был интуитивно очевиден даже для меня. И я сломалась. То есть – я перестала сидеть ровно, аккуратно сложив ручки перед собой, за красивым дедушкиным столом. Я потянулась за карандашом – их у дедушки было много, остро оточенных карандашей в металлическом стаканчике. Я потянулась за карандашом и машинально начала рисовать на полях. Читать стало гораздо легче. Только с текстом бороться куда проще, чем и с текстом и с собой. Чем дальше я читала, тем меньше понимала. Дальше были совершенно непонятные, похожие на английские, буквы. Какие-то цифры. И совершенно бессмысленные слова вроде «винкрестин» и «метотрексат». «Терапия». «Пересадка». Что бы они значили? К ним никак не приклеивалось никакое значение, как легко приклеивается значение к словам «стол», «стул» или «книга». «Т-клетки» и «В-клетки» ясности не вносили. Вообще, по всему тексту было как-то слишком много клеток, и я рисовала и рисовала на полях эти самые клетки. А в клетках – хомяков и морских свинок. И птичек. Но хомякам, морским свинкам и птичкам было тесно в странных Т-клетках и В-клетках, они хотели на волю. Или хотя бы в нормальные клетки. Большие, просторные клетки, удобные для тех, кто в них живёт. Но по тексту выходило, что люди как раз не живут в клетках, клетки живут в людях. Причём – везде. Можно даже сказать, что человек – это и есть клетка, состоящая из огромного количества клеток. И если хоть с одной из клеток что-то не так, то весь человек-клетка ломается. Иногда его можно починить, а иногда *«прогноз крайне неблагоприятный»*, что, скорее всего, означает, что человека-клетку починить уже нельзя, как не смог папа починить одну из своих канареечных клеток и как-то однажды поехал на Староконный рынок и купил новую клетку, а старую выкинул. В общем, ничего я особо из текста не понимала, при всей понятности букв в словах. Я могла только предполагать. И я так напредполагалась, что уснула. Опрокинулась лицом прямо в книгу и уснула. Разбудил меня дедушка. Посмотрел на разрисованную и заслонявленную (иногда, когда я сплю, я пускаю слюни... если честно, почти всегда, когда я сплю, я пускаю слюни, но у меня слюни чистые и аккуратные, не то что у двоюродного брата!) книгу и... И я думала, что прогноз крайне неблагоприятный и смерть моя пришла, потому что подобное обращение с книгами дедушки расценивается, как... Тут я снова не смогла ничего предположить, потому что как-то раз дедушка накричал на меня только за то, что я взяла с полки книгу без спросу. И кричал он непонятное: «Это беранже тысяча восемьсот девяносто третьего года!», хотя никакое это было не беранже, а книга. Кстати, что такое беранже? Это такая конфета? Самое близкое похожее – грильяж. А грильяж – это конфета. Спрашивать что бы то ни было у кричащего дедушки – пустая затея. Надо тихо уходить. Или делать страшно виноватый вид. И потом тихо уходить. Тогда ровно через пять минут кричащий дедушка сам приобретает виноватый вид и начинает ходить за тобой и тихо говорить: «Не обижайся! Просто с книгами надо аккуратно...» И начинает рассказывать про беранже, и выясняется, что беранже – это не грильяж, а Беранже и вовсе не конфеты, а песни. То есть человек, который эти песни написал, а в 1893 году в Тифлисе их издали. Тифлис – это Тбилиси. В Грузии. И уже в 1893 году там прекрасно издавали прекрасные книги на прекрасном русском языке. Последнее не очень понятно, потому что отчего бы в Тифлисе-Тбилиси не издавать прекрасные книги на прекрасном русском языке в каком угодно году? Сейчас в Тифлисе-Тбилиси издают книги на русском языке? Издают. Так сказал дедушка. Ещё он сказал, что раньше русский язык можно было слышать везде. И в Европе, и в Америке. И раньше русские говорили и по-английски, и по-французски, и по-немецки, не то что теперь! Я дедушке сказала, что Серёжка говорит по-английски. А дедушка сказал, что Серёжка не говорит по-английски, а только учится. Причём – не говорить, а читать, потому что говорить по-английски нынче не с кем. Вот так, бывало, возьмёшь в руки какое-то беранже, а разговор становится вовсе не пойми о чём... Но за разрисованную и заслонявленную большую

коричневую книгу с золотыми полосками дедушка может... Даже не знаю что! Но дедушка опроверг так и не предположенный ужас и, взяв меня на руки, спросил:

– Ну, вы что-то поняли, профессор?

– Нет, я ничего не поняла! – честно сказала я дедушке и разрыдалась. Разрыдалась не потому, что мне стало жалко разрисованную и заслужившую солидную толстую красивую книгу с плотными страницами. Хотя немножко и поэтому. Разрыдалась я потому, что, ничего не поняв в книге, я вдруг поняла, что Серёжка очень болен и не бежит не от важности. И на солнце не бывает не от важности. А потому что ему нельзя. И возможно, что тётя Лена не пускает к нему моего вечно-зелёно-сопливого двоюродного брата вовсе не потому, что он ей противен, как и мне, а потому, что его действительно нельзя пускать к Серёжке. Это было обиднее всего, потому что напрочь опровергало мою исключительность.

– Он очень болен, твой Серёжка. Знаешь, как мы его с бабушкой называем? Мы его называем твоим гувернёром!

– А кто такой гувернёр? – спросила я, успокоившись. То есть – снова обеспокоившись, но уже не страхом, а любопытством.

– Гувернёр – это наставник при малыше.

– И никакой Серёжка мне не наставник. А я – не малыш! – я вырвалась у деда из рук, показала ему язык и убежала во двор. Странно, он так и не отругал меня за осквернённую – как он это говорил, когда что-то портили, – книгу. Убежала и уже во дворе решила, что как бы там ни было, а моего двоюродного брата тётя Лена не пускает к Серёжке, потому что он ей противен!

А Серёжку скоро увезли в больницу. Я ему даже до свидания сказать не успела. Потому что много дней он вообще не выходил, и, прибегая, чтобы вместе с Серёжкой сказать солнцу: «Хэллоу, сан! Хау ар ю?!» – говорила это солнцу сама. В один из многих дней – иногда я сбивалась со счёта, особенно когда мама уезжала в центр города, оставляя меня здесь, – тётя Лена передала мне записку от Серёжки. И даже не записку, а почти взрослое письмо! Да, оно было короткое, но оно было в запечатанном конверте! Я впервые в жизни получила письмо так, как получают его только взрослые, – в запечатанном конверте! Правда, без марок, без печатей и без адреса, как настоящие письма, но всё равно! Почти взрослое письмо! А «почти» – не считается. Не считается ведь именно «почти», а не письмо? Полдня я так гордилась, что получила письмо, что чуть не забыла главное – его прочитать! Я только вынула записку – и тут же засунула её обратно. И даже зажмурилась, чтобы нечаянно не прочитать. Пока ты не прочитаешь письмо, можно придумывать про то, что письмо очень приятное. И Серёжка в письме написал про то, как мы с ним будем путешествовать по Америке. Всё равно по какой – по Южной или по Северной. Хотя, наверное, лучше по Южной, потому что в Южной наверняка теплее. Всё, что называется Южным, теплее того, что называется Северным. Отсюда, собственно, и названия, разве не так? Вечером я спросила у дедушки, всё ли Южное теплее Северного, и он сказал, что Южный полюс холоднее Северного полюса, и даже показал мне на глобусе, где эти полюса. Северный – наверху, а Южный – внизу. «А где теплее, в Южной Америке или в Северной?» – спросила я у дедушки. И он ответил: «Ну, это смотря где!» – и долго что-то рассказывал, но я думала о том, что завтра или, может, послезавтра я прочитаю Серёжкино письмо. И что мне всё равно, по какой из Америк мы будем с ним путешествовать. Я, пожалуй, согласна путешествовать с Серёжкой на самый холодный в мире Южный полюс и даже на самый тёплый в мире полюс – Северный. Главное, чтобы с Серёжкой. Потому что с ним интересно и спокойно, и он никогда на меня не кричит, хотя даже и мама, и дедушка, и даже старший родной брат на меня кричат иногда. И потому что Серёжка надо мной никогда не смеётся, хотя даже и мама, и дедушка, и родной старший брат надо мною иногда смеются. А Серёжка не смеётся надо мной,

даже если я объясняю ему, почему, при всей непохожести, беранже всё-таки очень похож на грильяж. И не только не смеётся, но и соглашается. В общем, потом, вечером, я Серёжкино письмо спрятала, чтобы дурацкий двоюродный брат его у меня не скрал. Зря я, конечно, не показала письмо маме, или дедушке, или своему старшему брату, или бабушке, или папе. Или даже тётё Оле. Дело в том, что поутру я забыла, куда спрятала письмо! То есть конверт с запиской. Когда оно обнаружилось, то было уже... Нет! Рассказывать всё надо последовательно. То есть – логично. И значит, справедливо. По крайней мере, стараться. Вот я и стараюсь.

Мама ругается со спускающимися с Девятой станции трамваями. Когда ярко светит солнце и жарко – трамваи ползут с горы, трепеща и слоаясь. А сейчас пасмурно и очень душно, как бывает, когда ливень пролился не полностью и будет литься ещё. Солнце не вышло сразу после ливня, как обычно – то есть чаще всего – бывает, а пошёл мелкий дождичек. Я не очень хочу идти на Шестнадцатую, потому что на Шестнадцатой станции Фонтана нет старой вишни. Такой, как на Восьмой станции Черноморской дороги. На Восьмой станции, пока мама с тётёй Леной разговаривают, я могу сковыривать со ствола старой вишни смолу и лакомиться ею в своё удовольствие. Когда мама разговаривает с другими взрослыми людьми – она не обращает на меня внимания. А когда мама только со мной, есть смолу нельзя. Но мама берёт меня за руку, и мы с тётёй Леной идём на Шестнадцатую. Потому что там конечная восемнадцатого и две тридцатишестилетние женщины – беременная и с маленьким ребёнком (вот ещё взрослая странность: иногда ты большой, иногда – маленький, всё зависит от их, взрослых, обстоятельств) – могут не только «влезть», но и «сесть».

И мы с мамой и тётёй Леной последовательно, логично и справедливо идём на конечную восемнадцатого трамвая. Тётя Лена – Серёжкина мама – придерживает руками огромный живот. Она беременная. Ей тридцать шесть лет, и она ужасно старая. Так говорят взрослые. Она ужасно старая из-за того, что её мужу всего двадцать шесть. Так тоже говорят взрослые. Мне сейчас всего шесть, и они оба – и тётя Лена, и её «молодой» муж – кажутся мне ужасно старыми. Странно, но моя мама мне кажется молодой и красивой, хотя ей тоже тридцать шесть. При мне ведутся какие угодно разговоры, потому что я – «умная девочка». Так говорят взрослые. При моём двоюродном брате взрослые никак не говорят на «взрослые» темы. Потому что он дурак. Так сказал однажды даже дедушка. Это однажды сказанное дедушкой наполняет меня такой гордыней, что будь мне сейчас не шесть, а тридцать шесть – мне наверняка было бы стыдно. Но в шесть я не просто хожу – я летаю, не касаясь ногами земли! Потому что я – «умная девочка», а мой двоюродный брат – «дурак». Я никогда не говорю этого вслух, потому что тогда меня назовут «плохой» или «избалованной», но после того как дедушка назвал его дураком, я только так о моём двоюродном брате и думаю. Ничего удивительного в том, что дедушку за его «дурака» про моего двоюродного брата никто не называет ни «плохим», ни «избалованным». Потому что дедушка взрослый. А взрослым – всё можно. Вот вырасту и буду всех подряд дураков называть дураками. А пока я маленькая и умная – вот и помолчу. И вот, оттого что я такая умная, но маленькая, я как-то раз задала маме дурацкий вопрос:

– Получается, что тётя-Ленин муж женился на ней в тринадцать, раз Серёжке тринадцать?

Мама смеётся, и мне стыдно оттого, что я задала такой дурацкий вопрос. Только дурацкие вопросы вызывают смех. Но, отсмеявшись, мама мне объясняет, потому что умным маленьким девочкам принято всё объяснять. Умные маленькие девочки унесут полученное объяснение с собой, в свою умнодевочковую маленькую страну, и будут там полученное объяснение холить и лелеять, как маленькую куколку из мягкой пластмассы. Умные маленькие девочки

будут заворачивать полученное объяснение в обрезки красивых тряпочек, будут хранить его и не станут носиться по переулку, как какой-нибудь двоюродный дурак, которому никогда ничего не объясняют, потому что дураки выплёскивают полученные объяснения не так и не туда. Как выплёскивает мой двоюродный брат свой горшок через окно. Ему тоже шесть. И мы с ним не только двоюродные брат и сестра, но ещё и молочные. У тёти Оли не было молока – то есть оно у неё как раз совсем кончилось, когда мама меня родила, – и моя мама кормила моего двоюродного дурака своей грудью. Дедушка говорит, что молочные на востоке ближе, чем родные. Я не хочу быть на востоке, потому что не хочу, чтобы мой двоюродный брат был мне ближе, чем родной. Потому что это очень неприятно, когда тот, кто ближе тебе, чем родной, – дурак и выплёскивает свой ночной горшок в окно. Мой двоюродный брат не только дурак, но и трус. Он боится ночью ходить в туалет. Потому что летний туалет – во дворе. Вообще-то с маленькими дураками больше носятся, и это несправедливо. Умных маленьких девочек, преодолевающих жуткий страх, чтобы выйти ночью в дворовой туалет, никто за это не хвалит. Потому что не знают. А когда взрослые не знают – они не хвалят. А самой похвалиться ночными походами в туалет – глупо. Зато двоюродного брата-дурака хвалят даже за то, что он сходил на горшок, а не обделался в постель. Дуракам определённо везёт!

– Тёти-Ленин муж женился на ней в двадцать три, – объясняет мне мама. – Иногда у женщин бывает несколько мужей. И несколько детей от нескольких мужей. Серёжка – её сын от первого мужа.

Тема кажется мне интересной для заворачивания её в обрезки красивых тряпочек. Можно представлять, что у тебя много мужей и много детей от многих мужей. Только чтобы были не дураки, как мой двоюродный брат. А чтобы были такие красивые, и умные, и высокие, как Сашка – тёти-Ленин муж. Если много таких мужей, как Сашка, то это хорошо. От них не будут рождаться такие дураки, как мой двоюродный. Наверное, бывший тёти-Ленин муж был тоже не дурак, потому что Серёжка не дурак. И мой папа – не дурак. Вот и я не дура. Но если разобраться, то и папа двоюродного дурака, дядя Коля, не дурак. Нет, он, конечно, не такой умный, как мой папа, но всё-таки он куда умнее двоюродного дурака. А главное – он добрее его. Мой двоюродный не просто дурак. Он – злой дурак! Бывает же такое с человеком – ему всего шесть лет, а он уже злой дурак! Да ну его! Вечно он лезет. Даже в мысли!

Тётя Лена и мама разговаривают. И мамин голос сейчас – правильный. Она задаёт правильным голосом правильные вопросы, и я горжусь своей взрослой, красивой, вовсе не старой мамой. Когда они с тётей Олей говорят не с тётей Леной, а о тёте Лене – голоса у них не такие правильные, и вопросы, которые они задают друг другу, тоже какие-то не такие. «И вот зачем ему это надо было?!» – спрашивают они друг друга. «Наверное, что-то поперёк!» – говорит моя весёлая, яркая, бесшабашная тётка Ольга, косясь на меня. «Может, он её любит?» – спрашиваю я любимую маму и не менее любимую тётю (ах, если бы у неё ещё не было и сына-дурака, то я была бы их единственной умной дочкой!). Мама и тётя долго смотрят на меня. Затем тётка Ольга говорит: «Очень даже может быть!», а мама говорит: «Иди во двор!»

Тётя Лена и мама разговаривают. И при маме тётя Лена ведёт себя со мной так, как все взрослые тёти ведут себя с маленькими девочками. Но у нас с тётей Леной есть тайна: мы с ней подруги. И когда никто не слышит, мы с ней разговариваем, как взрослые. Во всяком случае, с тех пор, как Серёжка в больнице. А он там уже почти месяц – и значит, мне скоро будет семь лет, между прочим! А ему – четырнадцать. И, кажется, я буду младше его как раз ровно в два раза. А потом – всё меньше. Потому что когда мне будет восемь – ему будет пятнадцать. И, значит, я буду младше его *почти* в два раза. Но это тот случай, когда «почти» имеет значение.

В общем, мы с Серёжиной мамой теперь подруги, потому что я забегаю каждое утро в их двор, чтобы пожелать солнцу здоровья и поинтересоваться его делами. Не знаю, почему в их двор. Тётя Лена не возражает и даже разговаривает со мной. Именно как со взрослой. Говорит всякие умные слова – как те, что из дедушкиной толстой коричневой книги с золотыми полосками. Я ничего не понимаю, кроме того, что Серёжка вместо выздоровления заболевает ещё сильнее. Вот и ложись в эти больницы! Тётя Лена пообещала испросить у мамы разрешения взять меня как-нибудь с собой к Серёжке. Я Серёжке просто обязана привезти смолы со старой вишни Восьмой станции Черноморской дороги. Не знаю почему. Мне ужасно хочется привезти ему смолы. Именно с этого дерева. Именно с этой остановки. Наверное, потому что мама выбросила смолу в пыль. Смоле в пыли так же одиноко, как Серёжке в больнице. Это так ужасно – где-то *лежать одному*.

Иногда по утрам, поздоровавшись с солнцем, я знаю, что тётя Лена почему-то даже вроде как бы хочет, чтобы Серёжка умер. Я не спрашиваю. Но она отвечает:

– Да. Я хочу, чтобы он умер. Я говорю это тебе, потому что ты поймёшь. Я не могу сказать такое взрослым людям. Они не понимают. Ты понимаешь, почему я хочу, чтобы он умер?

Я не понимаю, но знаю. И потому киваю. Ещё я киваю потому, что, если признаюсь в том, что только знаю, но не понимаю, – она перестанет со мной дружить и говорить такое, чего взрослым не скажешь. Наверняка ни один взрослый не только не поймёт, но даже представить себе не сможет, что мама хочет, чтобы её сын умер.

– Ты понимаешь! – настаивает она. Или это у взрослых просто любимое слово? – Понимаешь, то, что он сейчас выносит – слишком даже для взрослого! – Она всхлипывает, замолкает и замирает в какой-то нелепой ломаной позе.

Со «слишком даже для взрослого!» она явно погорячилась. Взрослым безо всякого «даже» всегда всего слишком. Слишком шумно. Слишком тесно. Слишком жарко или слишком холодно. Ещё им бывает просто так «это уже слишком!» по любому поводу. Слишком раскрученная карусель. Слишком много мороженого. Слишком чересчур сладкого. Слишком далеко не заплывай! Слишком тёте Лене не надоедай. Ну и так далее... Так что в том, что Серёжка выносит то, что слишком даже для взрослого, нет ничего удивительного, и никакого героизма лично я в этом не вижу. В любом случае, если тётя Лена хочет, чтобы её сын умер, – а я знаю, что она именно этого хочет, – значит, это правильно.

– Чудес не бывает, не правда ли?! – горько спрашивает она, отмирая из картинно-ломаной позы. Я думаю, что она спрашивает у меня. Потому что тут никого больше нет. И отвечаю ей:

– В сказках всё время чудеса. Ну и в жизни тоже. Недавно я нашла на море осколок бутылочного стёклышка. Ровный-ровный! Похожий на кусочек вишнёвой смолы. Только зелёный.

Тёте Лене плохо, и мне хочется её как-то обрадовать, чем-то успокоить. Я достаю из кармашка платья тот самый чудесно отполированный осколок и протягиваю ей:

– Бери! Это тебе!

Она берёт, говорит спасибо, улыбается и кладёт осколок в карман своего просторного сарафана. Потом она плачет и шепчет тихо-тихо:

– Он хочет помочь, но не может! Возможно, это ничего бы не дало... Но там всё по-другому! Там легче жить и тем более легче умирать! Он делает всё, что может, но у него ничего не получается!..

Где это «там»? Кто это – «он»? О ком это она, о боге? О боге разговаривают только старые бабули. «Там» – это рай? Старые бабули говорят, что после смерти хорошие люди попадают в рай. Интересно, кто и как решает, хороший человек или плохой? Бывают же совершенно неоднозначные случаи! Вот дедушка бывает и плохим, и хорошим. И мама бывает и плохой, и хорошей. Все, в общем-то, бывают и плохими, и хорошими. Даже двоюродный дурак хоть и о-о-очень редко, но бывает хорошим. Но, стоп! – в рай попадают после смерти, если верить старым бабулям. А тётя Лена говорит, что «там» легче умирать. И вообще, тётя Лена хоть и старая из-за своих тридцати шести для двадцати шести лет её мужа, но всё-таки далеко не бабуля, и даже беременная, а бабули беременными не бывают... Значит, не о рае. И, значит, не о боге. Ну и к тому же, если верить бабулям, бог – всемогущ. И если он хочет помочь, то – может и помогает.

– Кто – он? – спрашиваю я. Потому что если размышления ни к чему не приводят, то иногда лучше спросить. Чаше, что правда, лучше помалкивать.

Но тётя Лена ничего не отвечает и только плачет.

Когда приезжает её муж Саша (а он приезжает каждый вечер, как все взрослые дяди с работы) – я к ней не хожу. Нет, он хороший, и красивый, и всё такое, но он начинает говорить, что ей вредно волноваться и плакать, – и от этого она ещё больше волнуется и плачет. И тогда он сердится и говорит: «Мы делаем всё, что можем, и даже больше!» И тогда она кричит ему: «Конечно! Тебе легко говорить! Это ведь не твой сын!» Тогда он обнимает её, целует, крепко прижимает к себе и мягко-мягко, любя-любя, тихо шепчет: «Ну как тебе не стыдно! Серёжка – *наш* ребёнок». А она ему: «Только бы родилась девочка! Господи, молю, пусть родится девочка!» Я чувствую, что дяде Саше всё это вовсе не легко, особенно, почему-то, говорить. Впрочем, взрослым чаще всего нелегко бывает именно говорить. Я чувствую, что тётя Лена несправедлива к своему «молодому» мужу Сашке, а он, вместо того чтобы справедливо и логично надуться на неё и не разговаривать с ней, как я всегда делаю, когда ко мне кто-то несправедлив, ещё и успокаивает её, и гладит, и обнимает, и целует. Мне даже как-то завидно, потому что, когда я надуваюсь за несправедливость, меня никто не целует, а только говорят: «Иди и подумай над своим поведением!» Очень хочется, чтобы был кто-то такой, с кем можно не думать над своим поведением и кто бы обнимал и гладил тебя, когда ты несправедлив, неправ и зол. Потому что тётя Лена, когда кричит своему «молодому» мужу Сашке про «Это ведь не твой сын!» – чувствуется, что она очень несправедливая, злая и плохая, хотя она вообще-то логичная, добрая и хорошая. Наверное, для того чтобы кто-то тебя целовал, когда ты злой и плохой, надо чтобы этот кто-то тебя сильно любил. Даже сильнее, чем мама с папой и дедушка с бабушкой. Потому что мама с папой и дедушка с бабушкой всё-таки не бегут сломя голову тебя обнимать и целовать, когда ты скажешь что-то злое и плохое. Если бы мама с папой и бабушка с дедушкой хоть иногда так делали вместо своего дежурного: «Иди и подумай над своим поведением!» – то охота говорить злое и плохое совсем отпала бы. Но им говорить об этом бессмысленно. Потому что даже если тихонько спросить у папы или у дедушки про почему Сашка обнимает тётю Лену, хотя она говорит ему злое и плохое, то папа скажет: «Он её любит!» (если папе тут же, в качестве эксперимента, крикнуть: «Папа, ты – жади́на-пома́дина, в попе – шоколади́на!!!» – то папа вовсе не кинется тебя обнимать-целовать, а только поправит очки на переносице и удивлённо спросит: «Ты чего это?!» – ну и где любовь, о которой он только что сам же и говорил?), а дедушка только вздохнёт и махнёт рукой. У мамы, тёти Оли и бабушки такого вообще лучше не спрашивать. Мама скажет своё коронное: «Вырастешь –

узнаешь!» Тётя Оля кинет вот этим своим: «Не твоего ума дело!» А бабушка тихонько заплачет. Вот столько взрослых умных людей вокруг, а на элементарный вопрос никто ничего ответить не хочет! Ну или не может. Не знаю.

И ещё – значит, хоть тётя Лена и не бабуля, но богу молится? Странно. Странно, что он, бог, тогда ей не помогает. Тем более если она знает, что он хочет помочь. Интересно, а почему она хочет девочку? Ну да, мальчик у неё уже есть. Серёжка. Логично. Справедливо.

Как это ни стыдно – подслушивать из кустов сирени, но я не виновата. Просто я уснула там, а когда проснулась – не обнаруживать же себя, когда у людей всё так... Всё так по-семейному, вот! Это у нас частенько, как в той самой общаге, – и мама с тётей Олей, и дядя Коля с тётей Олей могут орать-кричать-ругаться, не глядя, кто вокруг. Мои родители ругаются более мирно, как это называет папа – «цивилизованно», – но тоже частенько выходят из берегов и не обращают на меня внимания. А брат – мой родной старший брат – и сам уже не обращает на них внимания. Ему уже шестнадцать, и он переехал к бабушке с дедушкой насовсем. Я думала, потому что ему надоело спать на вертолёте. Но он сказал маме, что потому что «с ней жить невозможно». Ну а мне куда деваться? Мне всего шесть. Хотя когда мама и папа не ругаются, с ними хорошо. Только вот такого в них нет... Как в тёте Лене и её Сашке. Нет в них этого... Этой. Трогательности, вот! Может, и хорошо, что нет в них трогательности? Значит, у нас в семье все здоровы. Наверное, трогательность появляется тогда, когда кто-то болен. А нельзя ли как-то сделать так, чтобы трогательность была и в тех семьях, где все здоровы? И я решаю помолиться богу. Если я здороваюсь с солнцем, то кто мешает мне помолиться богу? Вреда от этого точно не будет. Если бога нет – то и ладно. А если он есть, вдруг услышит? Надо как-то правильно попросить. То есть – помолиться. Потому что из всей той весьма скудной информации, что у меня есть о молитвах, следует, что молитва – это просьба. Просьба – это когда тебе чего-то надо от кого-то и ты этого кого-то об этом «надо» просишь. Если правильно просить взрослых – они дают, чего просишь. Ну, в пределах разумного, разумеется. Трогательность – это же в пределах разумного? Ну, пусть не для всех. Пусть только для моей семьи. Пусть дедушка будет нежнее с бабушкой. Пусть тётя Оля не будет такой ехидной по отношению к дяде Коле. Ну и мама пусть на папу не кричит. И папа на маму. Если нельзя сразу всем, то пусть бог сначала даст трогательности моим маме и папе. Им очень этого не хватает!

Я начинаю раздумывать, как правильно обратиться к богу. Наверное, вот так подойдёт: «Дорогой товарищ Бог! Здравствуй! Как твои дела? Если у тебя всё хорошо, ты есть и меня слышишь, то прошу тебя дать моим маме и папе такой же трогательности, как у тёти Лены с её Сашей. Спасибо! Только если дашь трогательности, то здоровье, пожалуйста, тоже оставь, ты же не жади́на-помади́на, товарищ Бог? Ещё раз спасибо, что выслушал!» Дурацкое какое-то обращение к богу. Наверное, не надо ему сразу вот так вот: «Ты же не жади́на-помади́на?!» Бог же, он не злой дурак, с ним не нужны эти манипуляции «жади́на-помади́на, в попе – шоколадина!». Про жадину надо убрать. И про «если ты есть». Если его нет – так никто и не услышит. А если он есть – подумает: «Что за дурочка с переулочка?» Значит вот так: «Здравствуй, дорогой товарищ Бог! Как твои дела? Дай, пожалуйста, моим маме и папе здоровья и трогательности. Спасибо!» Вот, замечательно! Коротко, ясно и не слишком глупо. Может, ещё и про Серёжку попросить? С другой стороны, неловко. Первый раз обращаешься – и сразу столько всего тебе дай. И маме с папой здоровья и трогательности. И Серёжке – не хворать! Это вроде как только с кем-то познакомился, он тебе: «Хочешь конфетку?» – а ты ему: «Чего это конфетку? Давай сразу уж килограмм, и пирожных коробку, и мороженого целый лоток!» Надо быть вежливой и сдержанной девочкой. Окончательный, или, как папа говорит, – финальный – вариант: «Здравствуй, дорогой товарищ Бог! Как твои дела? Дай, пожалуйста, Серёжке здо-  
ровья!»

Ещё немного полежав в кустах сирени, я тщательно отшлифовала про себя свою первую молитву. И, отойдя до самого конца переулочка, произнесла её вслух, задрав голову вверх. На всякий случай. Вдруг бог сильно стар и немного глуховат, как все сильно старые старики.

Я осталась очень довольна собой. Здоровскую молитву я придумала! Короткую, ёмкую, по делу, без лишних зелёных соплей. Эх, мне бы цветик-семицветик, как той дурочке из сказки Катаева, уж я бы его не разбазаривала на всякие глупости! Но, похоже, тётя Лена права, и чудес не бывает. Потому что наутро – а я ждала целую ночь, что бог откликнется! – Серёжка не объявляется у себя во дворе и не объявляет мне, что мы с ним едем-летим путешествовать по Америке, как те два дядьки из книги про Аргентину. Про последнее я бога не просила, но очень надеялась, что он мне за мою сообразительность и ненавязчивость отсыплет сразу побольше, как отсыпают взрослые побольше конфет, если быть вежливой и не слишком много и нагло просить. В общем, бог меня немного разочаровал, но, поразмыслив, я решила, что, может, у него просто руки пока не дошли рассмотреть мою просьбу. Потому что если у него всё справедливо, логично и последовательно в порядке очередности, то даже тех старых бабулек, которых я знаю, ему с лихвой хватит на целую неделю. В молитвах старых бабулек так много лишних бессмысленных текстов, а бог, наверное, очень прилежный и тщательно слушает всё подряд. Пока там это, как дедушка говорит, зёрна от плевел... Подожду ещё. И почему это старушкам надо уступать? Место, там. Или пропускать их без очереди? А если твоя молитва важнее? Старые бабульки без очереди не пропустят – это я точно знаю! У нас тут есть одна такая, что через слово – «дай бог!», «слава богу!», «боже, спаси и сохрани!», – а однажды так дралась в очереди за кедами, что выкинули в «Золотом берегу», что чуть здорового грузчика-бугая банкой с томатным соусом не зашибла. Зачем старушке кеды? Ладно, мы с мамой встали, потому что кеды нужны и мне, и моему двоюродному брату-дураку, и моему родному старшему брату. И дочке грузчика-бугая кеды нужны. А той бабульке зачем кеды? Впрочем, старым бабулькам всегда и всё нужно. И кеды, и томатная паста, и, наверное, молитвы. Наверняка даже в очереди с молитвами к богу старые бабульки размахивают банками с томатной пастой. А кеды той старой бабульке нужны, чтобы быстрее до церкви добежать. Церковь у нас тут одна – монастырь. То есть сам монастырь – он не церковь. Но в монастыре есть церковь. И вот надо утром надеть кеды и добежать туда раньше бабулек, и там обратиться к товарищу богу. Из церкви, вероятно, быстрее доходит. Это как с письмами. Мама всегда говорит папе про письма: «Брось на почте!» – потому что из почтовых ящиков, висящих прямо на почте, почтальоны быстрее вынимают – и, значит, быстрее доходит до адресата. Церковь – это просто такое божественное почтовое отделение, и молитвы оттуда быстрее вынимаются и доставляются к товарищу богу.

На Шестнадцатой, на конечной восемнадцатого мы с мамой и тётей Леной не только «влезем», но и «садимся». Причём я у окошка. Правда, у мамы на руках. Я не очень люблю сидеть у мамы на руках. Мама так беспокоится, чтобы мне было удобно, что мне постоянно неудобно доставлять ей такое огромное неудобство и здоровенное беспокойство. Куда как удобнее и спокойнее сидеть на руках у родного старшего брата. Кажется, что ему всё равно – сижу я у него на руках или не сижу, и от этого «всё равно» сидеть у него на руках удобно и спокойно. А мама, кроме беспокойства обо мне, ещё и постоянно беспокоится о своей юбке и о том, чтобы я не задела тётю Лену, потому что она «ждёт ребёночка». Наверное, мама имеет в виду, что тётя Лена ждёт Серёжку из больницы. Или встречи с Серёжкой в больнице. Вот и получается, что тётя Лена и беременная, и ждёт ребёночка. Мама тоже постоянно ждёт ребёночка – моего родного старшего брата. Потому что он уже взрослый – ему шестнадцать, как я тут раньше уже подумала. Мне скоро будет всего лишь семь, а ему скоро – аж семнадцать! Я ему жутко завидую. Потому что, когда тебе скоро «аж семнадцать», а не всего лишь семь, ты не должен постоянно отчитываться перед мамой, ходить с ней за ручку или сидеть у неё на руках.



И можешь есть вишнёвой смолы сколько тебе вздумается! Мама, похоже, так не считает – и всё время «ждёт ребёнка». Однажды мой старший брат не пришёл домой ночевать. И мама ждала его целую ночь. И чтобы не было скучно его ждать целую ночь (потому что ждать кого-то или даже чего-то целую ночь – это ужасно скучно!) – мама ругалась с папой и постоянно звонила куда-то по телефону. Папе она кричала, что ему наплевать. Папа вяло отнекивался, что ему не наплевать, и вообще, «он уже взрослый мальчик» (не знаю, про кого это папа – про моего родного старшего брата или про себя?), и что он предупреждал, что не придёт (это, наверное, про моего родного старшего брата, потому что папа домой пришёл). Мама и папа думали, что я сплю, потому что обычно я очень крепко сплю, но ночь была новогодняя, и я не спала, потому что караулила Деда Мороза. Но я его так и не подкараулила! Было очень обидно. Не потому, что не подкараулила, а потому, что Дед Мороз так и не пришёл, – утром под ёлкой не было подарков! Я забежала на кухню и заплакала. На кухню – потому что мама и папа не ложились и всю ночь так и просидели за столом, ругаясь. Папа был мрачный, а мама – заплаканная. И я тоже заплакала. Из-за того, что Дед Мороз про меня забыл, и из-за того, что мама заплаканная. Я всегда плачу, если мама плачет. Если маме плохо – то и мне становится плохо, даже если было хорошо. А тут мне и так плохо из-за Деда Мороза, да ещё и маме плохо! Ну, я и заплакала. И даже заревела! И папа хмуро спросил: «А ты чего ревёшь?!» Мама на него закричала: «Вот, даже маленький ребёнок переживает, и только тебе плевать! Тебе на всех наплевать, кроме себя!» Папа, если честно, ни на кого не плюёт, нет у него такой привычки. Вот у нас там, где мы живём летом, есть один такой дядька – так он всё время плюёт. Правда, не на всех и не на себя, а на землю. Раньше это был очень страшный дядька – у него в горле дырка, из дырки торчит трубочка, и говорит он свистящим зловещим шёпотом. Все его страшно боялись и однажды полезли к нему воровать малину, чтобы доказать друг другу, что его никто не боится. И тут он зашёл в калитку!.. Все убежали, кроме меня и моего родного старшего брата. Я – потому что окаменела от ужаса и не могла бежать. А мой родной старший брат непонятно почему не побежал, хотя он быстрее всех бегает, выше всех прыгает, лучше всех катается на велосипеде и больше всех подтягивается на турнике. Он не побежал, а стал передо мною. Я хоть и окаменела от ужаса, но мне было ужаснее ужаса любопытно, что сделает страшный сипящий дяденька, а брат загоразживал дяденьку, и я тогда решила от страха зажмуриться, потому что всё равно ничего не видно. Но слышно. И слышно было, как страшный сипящий дяденька ужасно страшно просипел моему старшему брату: «Собери, я всё равно не ем, пропадает. Вон, бидон на заборе висит. Только потом верни». И после этого страшный дяденька перестал быть страшным и ужасным, остался только сипящим. А бабушка из той малины сварила варенье и сказала, что она Руслану Михайловичу сама бидон занесёт. Ещё сказала, что у Руслана Михайловича рак гортани и что курить вредно. Моему родному старшему брату сказала. Я-то не курю. А мой двоюродный брат-дурак хотя ещё и пишется в постель, а уже однажды подобрал окуроч в пыли и делал вид, что курит. Вот бы у него был рак гортани. Было бы здорово! Он вряд ли бы от рака гортани поумнел, но перестал бы вопить на всю округу противным писклявым голосом, а только бы сипел. Интересно, что это за рак гортани такой? Руслан Михайлович, между прочим, всё равно курит, видимо, не знает, что его раку гортани это вредно. Или не любит свой рак гортани, из-за которого сипит, и хочет его выкурить – вот и курит. Я с Русланом Михайловичем после той малины задружились. Прихожу к нему иногда. Просто посидеть на крыльце. Он выходит по утрам на крыльцо очень смешной. В огромных чёрных трусах, в белой майке и в кепке. Вообще-то он лысый. Но почему-то всё время носит кепку. Только когда утром курит на крыльце, то иногда кепку снимает и лысину свою гладит. Он мне как-то просипел, что я его подруга. Усмехнулся и ещё просипел: «Раньше подруг у меня было, как грязи! Куда все подевались? Как и не было. Теперь вот одна ты у меня подруга! Спасибо, что не боишься и не брезгуешь». Бабушка меня отругала за то, что я к Руслану Михайловичу «шляюсь», и нечего маленькой девочке делать у старого мужика, который

сидел. А я не шляюсь – я хожу. И ничего особенного у него и не делаю. То же самое, что и он – сижу. Он сидит – и я с ним сижу. Он посидит – и уходит. И я посижу – и ухожу. Интересно, что у него в доме? Но в дом мне пока зайти страшно. Он сам не приглашает, хотя я и его подруга. Я бабушку спросила, что такое «не брезгуешь». Она мне сказала, что это когда не противно от противного. Противное – это, например, сопля. Или мой двоюродный брат-дурак. Соплями и двоюродным братом-дураком я брезгую. А Руслан Михайлович не сопля и не мой двоюродный брат-дурак. Почему я им должна брезговать?

В общем, папа говорил про то, про что и всю ночь, – что ему не плевать. Мама хватилась меня обнимать, и мы с ней стали вместе реветь. Просто реветь без слов – бессмысленно. И я решила сказать, почему я реву.

– Про меня Дед Мороз забы-ы-ыл!!! – заревела я ещё громче. – Я побежала под ёлку, а там – ничего!!!

И тут мама вскочила, схватила табуретку, убежала в коридор и полезла на антресоли. А потом забежала в комнату. Вернулась через минуту и говорит почти нормальным голосом:

– И никто про тебя не забыл! Дед Мороз вот только что приходил и положил тебе под ёлку подарок! Дед Мороз всегда и про всех знает и помнит. Это только наш папа никогда ничего не знает и никогда ни про кого не помнит! Поэтому все вокруг считают, что он – хороший, а я – плохая!

Я не стала маме говорить, что и папа хороший, и она – хорошая, потому что мне было некогда: я тут же побежала под ёлку, в комнату. И – действительно! – там лежала огромная коробка с кукольным домиком, кукольной мебелью и всем таким правильным кукольным! Я решила, что ни за что не возьму этот кукольный домик летом к бабушке и бабушке, потому что мой двоюродный брат-дурак этот кукольный домик уничтожит. Ну, или возьму, но спрячу в саду у Руслана Михайловича – вот уж куда мой двоюродный брат-дурак ни в жизни не пойдёт, потому что он страшный трус. Спрячу у Руслана Михайловича и буду приходить, брать и идти играть с Серёжкой. Потому что Серёжка никогда ничего не ломает и с ним очень интересно играть во что угодно. Деда Мороза я тут же простила и до самого вечера играла в кукольный домик. В кукольном домике был Новый год, и все были хорошие, и никто ни про кого не забыл, и все говорили друг другу хорошее, и обнимались просто так, безо всякого повода, и ели мандарины, и смотрели по телевизору все подряд фильмы и мультфильмы, и даже скучные концерты, и всем было весело! Вечером пришёл мой родной старший брат, и я хотела играть с ним, но родители начали с ним ругаться, особенно мама, и поиграть не получилось. А почему мама снова плакала и все опять ругались – я не поняла. Потому что мой родной старший брат давно говорил маме, что на Новый год он будет у Игоря с Советской Армии. Вчера же был Новый год? Наверное, мама просто почти забыла, как почти забыл про меня Дед Мороз. Но потом она вспомнила, и совсем вечером все помирились и сели за стол, а я – старшему родному брату на руки, и так у него на руках и уснула, хотя он и тогда не заботился, чтобы мне было удобно, и лопал из всех тарелок и салатниц, а мама всё никак не могла перестать плакать, хотя все уже были дома. А Игорь с Советской Армии, между прочим, очень вкусно готовит, потому что после восьмого класса ушёл в кулинарный техникум. Но он не потому хорошо готовит, что в кулинарный техникум ушёл после восьмого класса, он в кулинарный техникум ушёл после восьмого класса, потому что хорошо готовит. Мама очень хорошо знает Игоря с Советской Армии, потому что все восемь классов он с моим старшим братом вместе учился. Мой старший брат пошёл в девятый и уже даже десятый класс, а Игорь с Советской Армии – в кулинарный техникум. Я подумываю, не влюбиться ли мне в Игоря с Советской Армии, потому что он очень хорошо готовит? Папа совсем не умеет готовить, и потому всё время готовит мама. Приходит с работы с сумками – и начинает готовить. А если влюбиться в того, кто хорошо

готовит, и выйти за него замуж, то это будет красота! Пришла с работы – а всё уже готово! Можно спокойно поесть и играть с, например, дочкой (потому что у меня обязательно будет дочка!), а не говорить ей: «Не мешай мне! Не видишь, я готовлю?!» Зачем готовить, когда уже всё готово? Это очень хорошо, когда муж готовит. Когда я маме сказала про Игоря, то она рассмеялась и сказала, что Игорь с Советской Армии для меня не вариант. Мне наверняка нужен будет кто-то поумнее. Зачем мне кто-то поумнее, если Игорь с Советской Армии готовит? К тому же если мужей может быть несколько, то пусть один готовит, а другой будет поумнее. Когда я спросила дедушку про почему мне нужен муж поумнее, чем Игорь с Советской Армии, то дедушка вообще сказал загадочное. Он сказал, что я очень эклектичная и чувственная девочка и проблем с мужиками у меня не будет, а вот с любовью будут одни сплошные проблемы. А бабушка ему сказала: «Что ты ребёнку глупости говоришь?!» – хотя она редко говорит дедушке «поперёк». Говорить «поперёк» – это значит не соглашаться. Бабушка всегда с дедушкой соглашается, а когда кто-то кому-то говорит про «глупости говоришь!» – это значит, что этот кто-то с тем кем-то не согласен. Я спросила дедушку, что такое эклектичная – и он ответил, что эклектичная – это в точности такая, как я. А про чувственную он сказал, что это такая, которой до всего дело есть, и такая, что даже из засаленной кепки Руслана Михайловича способна сделать фетиш. Чтобы они были здоровы, эти взрослые, со своими словами! Вот что такое фетиш, скажите на милость? И как это всё в себя впихнуть, если я ещё с эклектичностью и чувственностью не разобралась? Никакого фетиша из кепки Руслана Михайловича я не делала! Я просто попросила её у него на один день поносить. Мама как раз уехала, и значит, никто не будет кричать: «Сними немедленно эту гадость!» Кепка мне, кстати, для дела нужна была, а не просто так. Я подумала, что если я похожу в кепке Руслана Михайловича, то всё сразу пойму и про него, и про его рак гортани. Но ничего не поняла, к сожалению. И вечером кепку ему вернула. Он очень серьёзно спросил меня: «Ну как?» И я ему так же серьёзно ответила: «Ничего не понимаю!» – и пожала плечами. «Ну, прости, брат!» – сказал он мне всё так же очень серьёзно. И мы с ним серьёзно и молча посидели рядом у него на крыльце, и потом я пошла, сказав ему: «Ну, я пошла, пока!» – а он мне ответил: «Ну, давай, до завтра!»

А Дед Мороз тогда, когда про меня чуть не забыл, даже к моему старшему родному брату заходил, оказывается, прямо к Игорю на Советскую Армию, и велел передать мне ещё один подарок. Такую забавную штуку для денег. Для детских денег, потому что у детей взрослых денег не бывает. Детские деньги – это монетки. Взрослые деньги – это бумажки. В забавную штуку детские деньги можно засовывать столбиками. И мой родной старший брат уже от себя складывал монеток в эту штуку от Деда Мороза. Мы с ним вместе пересчитали – выходило, что уже на очень много порций фруктового мороженого по семь копеек хватит. А если я буду складывать туда монетки аж до самого лета, то буду богата и вольна покупать себе мороженое, как только захочу, а не когда мама разрешит. Конечно, если мама разрешит мне самой дойти до будки с мороженым на Шестнадцатой. Разрешит, наверное. Дойти до будки и обратно – это же не домой ночевать не прийти. Хотя моему родному старшему брату она разрешила не прийти ночевать на Новый год. Просто потом забыла. Чтобы она не забыла, что разрешила про будку с мороженым, надо просто пойти без разрешения. Всё равно никто не заметит – я целый день летом могу гулять сама «только ни ногой с переулка!». Я ни ногой. А двумя – я быстро туда и обратно! Когда взрослые не ждут ребёнка – они не волнуются. Так что лучше пусть ребёночки приходят, когда их не ждут. Это куда лучше для взрослых, чем когда ребёночков ждут, а они не приходят. Так что мне надо быстро в монастырь, в церковь, на обратном пути – за мороженым, и никто не заметит, что я пришла, потому что я не буду просить разрешения, и значит, никто мне не разрешит и вообще не заметит, что я уходила.

Не знаю, почему мама так волновалась, что я пихаю тётю Лену, которая ждёт ребёнка? Во-первых, я её не пихала. Во-вторых, нависший над нею из прохода пузатый дяденька пихал

её куда сильнее меня. Наверное, пузатый дяденька тоже ждёт ребёночка, да ещё и не одного. Потому что живот у него был куда больше, чем у тёти Лены. И логичнее – то есть справедливее и последовательнее – было бы уступить тёте Лене наше место у окна, но мама сказала тёте Лене, что я очень люблю считать машины за окном. Я хотела сказать, что машины можно считать и с тёти-Лениного места и что я могу разок и обойтись без того, чтобы считать машины, потому что всё равно сбиваюсь очень быстро, потому что столько мыслей, что они совершенно отвлекают от подсчёта машин! И вообще – это мама любит, чтобы я считала машины. Видимо, чтобы я не отвлекала маму от её собственных мыслей. И потому мама, когда мы с ней садимся в трамвай, всегда говорит мне: «Посчитай, сколько зелёных машин проедет за окошком и сколько красных! А когда доедем – скажешь. Я тоже буду считать – сверимся!» Поскольку я всегда сбиваюсь, то, когда доезжаем, говорю маме: «Десять зелёных и три красных. Все остальные – беленькие, серенькие и чёрненькие». Как мама проверит? Мама могла бы проверить, только если бы сама считала машинки. А мама точно этого не делает – она только говорит, что тоже будет считать. А сама не считает, а думает. Обычно мама думает о том, что сказать папе и что папа ей не так сказал. Как ответить тётке Ольге на её язвительность и когда она занимала деньги у дедушки, не потому, что дедушка жадный, а потому, что если ты не можешь вернуть дедушке деньги тогда, когда обещал, то надо прийти к нему и сказать: «Папа, я не могу вернуть сегодня, верну через месяц!» – и тогда дедушка будет спокоен и доволен. Дедушка всегда помнит, когда у него заняли деньги. Ещё мама думает о том, почему тётке Ольге дедушка даёт деньги просто так, а ей, маме, в долг. Хотя они обе ему родные дочери. Я иногда тоже размышляю над тем, почему многое из того, что можно моему старшему родному брату, мне нельзя, и наоборот. Потому и сбиваюсь с машинок. А мама их и считать-то не начинает. Это такое дурацкое враньё про машинки. Безобидное, но дурацкое. Хотя, в общем-то, даже полезное. И значит, хорошее. Всё полезное – хорошее. Хотя сами же взрослые любят очень наврать про то, что врать нехорошо.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.